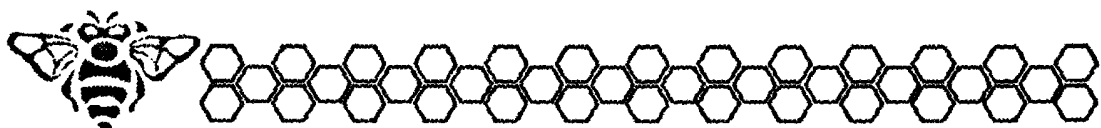


STUDIA PHILOLOGICA



В.М. Живов

**Разыскания
в области истории
и предыстории
русской культуры**



**ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2002**

ББК 63.3(2)4
Ж 67

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ)

проект 00-06-87013



Живов В. М.

Ж 67

Разыскания в области истории и предыстории русской культуры. – М.: Языки славянской культуры, 2002. – 760 с. – (Язык. Семиотика. Культура).

ISBN 5-7859-0221-4

Книга представляет собой сборник статей по истории русской культуры от древнейших времен до XIX в. Статьи объединены как общностью подхода, так и повторяемостью ряда тем. Общность тем позволяет проследить, как определенные культурные концепты переосмысляются в рамках сменяющих друг друга культурных парадигм. В начале рассматривается ряд проблем византийского богословия. Затем разбирается процесс христианизации Киевской Руси и взаимодействие христианской традиции и языческого менталитета при складывании русской христианской культуры, рецепция в определенном этим взаимодействием культурном пространстве элементов византийской и западноевропейской цивилизации, особенности модернизации и рационализации русского общества, обусловленные спецификой образовавшегося в результате данных процессов культурного фона, роль литературы в этом развитии. Книга представляет интерес для широкого круга историков, филологов и богословов.

ББК 63.3(2)4

*На переплете: Разрушение Содома. Клеймо иконы
«Архангел Михаил с житием». 10-е гг. XV в. Архангельский собор, Москва*

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G · E · C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G · E · C GAD.

© В. М. Живов, 2002

Содержание

<i>Предисловие</i>	7
------------------------------	---

I. Предыстория

«Мистагогия» Максима Исповедника и развитие византийской теории образа	15
Богословие иконы в первый период иконоборческих споров	40

II. Начала

Особенности рецепции византийской культуры в древней Руси . . .	73
Slavia Christiana и историко-культурный контекст	
Сказания о русской грамоте	116
Addenda et corrigenda	158
Об этническом и религиозном самосознании Нестора Летописца . .	170
История русского права как лингвосемиотическая проблема	187
Postscriptum	291
Двоеверие и особый характер русской культурной истории	306

III. Изломы и надрывы

Религиозная реформа и индивидуальное начало в русской литературе XVII века	319
Вопрос о церковной юрисдикции в российско-украинских отношениях XVII — начала XVIII века	344
Церковные преобразования в царствование Петра Великого	364
Культурные реформы в системе преобразований Петра I	381

IV. Плоды просвещения

Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века	439
Метаморфозы античного язычества в истории русской культуры XVII—XVIII вв.	461

К предыстории одного переложения псалма в русской литературе XVIII века	532
Первые русские литературные биографии как социальное явление: Третьяковский, Ломоносов, Сумароков	557
Кочевническая поэзия в системе русской культуры конца XVIII — начала XIX века	638

V. В конце эпохи

Маргинальная культура в России и рождение интеллигенции. . . .	685
О превратностях истории, или о незавершенности исторических парадигм	705
<i>Библиографическая справка</i>	730
<i>Указатель имен</i>	733

Предисловие

Какой ученый, начав собирание своих статей, не воскликнет вместе с Екклесиастом: «Суета сует и всяческая суета». Смирись, гордый человек! Неужто из преходящего ты хочешь сделать непреходящее, из мимолетного — монументальное, из водянистого ученого слова — источник воды живой? Читая собственные сочинения прошлых лет, с особенной отчетливостью ощущаешь, насколько скоропортящимся продуктом оказывается наука вообще, а твои личные опыты — в особенности. Те идеи, которые казались столь увлекательными двадцать лет назад, теперь выглядят наивными и схематичными, ту словесную ткань, которая гармонически — как тогда представлялось — с этими идеями сопрягалась, ты ощущаешь теперь с ощущением слепца, обманутого незнакомой дрянью. Или, как сказал великий поэт, «пока я спал, овца принялась объедать венки из плюща на моей голове, — и, объедая, она говорила: „Ты не ученый больше“».

В отличие от подвижника, который, оглядываясь назад, с благодарностью созерцает путь, пройденный им от бездны греха до высот святости, ученый, пятясь по пройденному пути, обнаруживает лишь не слишком привлекательные остатки своих привалов. На тех прогалинах, где ему мерещилось возвращение Эвридики, он застаёт лишь мелькание исчезающей тени. Нет величия на этом пути, но есть смирение. Праведника на каждом новом подъеме подстерегает гордыня, ученый движется по ровной тропе, и ничего неожиданного ему впереди не встретится. Но он видит издали место для еще одного привала и движется к нему тем же размеренным шагом, который в долготе неромантических занятий стал для него привычным. Он смотрит без особых надежд на плоды очередной остановки, и эта отчужденная снисходительность распространяется на все пространство его обзора.

Наука приучает относиться к самому себе со смирением и терпимостью, простирая эту терпимость и на свои прошлые труды, и на труды своих коллег, бредущих соседними тропами. Акакий Акакиевич сжил-ся со своими закорючками, научился находить в них небольшое удо-

вольствие и с той же невесторженной приязнью смотреть на закорючки своих соседей по департаменту. Республика ученых — это сообщество людей, снисходительно относящихся к достижениям ближнего, в том числе и к достижениям себя-другого, т. е. себя самого, оставленного в прошлом. То, что зачаровывает тебя сегодня, обратится в ветошь завтра, и ветошь сегодняшняя (то, что уже в нее обратилось) вряд ли существенно хуже ветоши завтрашней. В этом случае незазорно поделиться ею со своими спутниками, рассчитывая, что они столь же снисходительно отнесутся к тебе, как ты относишься к самому себе и к ним.

В этом духе агностического смирения я и собрал свой короб опавших листьев. Я думал при этом, что моим коллегам будет удобно иметь эти листья под одной обложкой, поскольку устоявшиеся обычаи ученого сообщества вынуждают их упоминать тех, кто раньше оставливался на том же привале — вне зависимости от того, как они относятся к оставленной там вешке. Мне самому в силу естественного эгоцентризма пройденный маршрут кажется наделенным нехитрой внутренней логикой, хотя, скорее всего, эта логика сводится к отождествлению себя в прошлом и себя в настоящем. Для других, не отягощенных этим субъектоположением, тот же маршрут может представляться случайным блужданием, и на такой взгляд они имеют полное право. Во всяком случае я не стремлюсь и не умею сформулировать общую концепцию или общий теоретический подход, которые объединяли бы все оказавшиеся в одной связке работы.

Подходы меняются, а интересы остаются, хотя единство интересов индивидуально и никакой теоретической ценности не представляет. Единство интересов — это личный опыт, состоящий в том, что ты стремишься съесть именно тот орех, который ты выбрал, а для того чтобы справиться со скорлупой, пробуешь разные инструменты. Для меня таким орехом была и остается специфика русской культурной идентичности. Насколько доступнее стал этот предмет в результате моих усилий, судить не мне; ни о каком окончательном результате говорить здесь не приходится, так что я и сейчас продолжаю возиться все с той же скорлупой. Прежние усилия не кажутся мне при этом потраченными даром, хотя щипцы, которыми я теперь орудую, совсем не похожи на те, что казались мне подходящими четверть века назад. Кривой луч что-нибудь тоже высвечивает, а раз увиденное остается зримым, даже если глядишь на него в другом ракурсе. От излюбленных прежде ракурсов я отказался, и самосознание ренегата способствует, как мне кажется, трезвости в отношении к своим занятиям.

Наука начиналась для меня в шестидесятые годы, когда на роль царицы гуманитарных дисциплин претендовала лингвистика. Отчасти это объяснялось тем, что обнажилась словесная природа гуманитарного знания (или знания вообще), и это обращало науку к слову, к той ткани, из которой она была соткана; и у этого стимула было будущее. Отчасти же это было обусловлено причинами едва ли не противоположного характера. Из всех наук о духе лингвистика была, по видимости, ближе всех к наукам о природе, и казалось, что фантом «объективного» знания, рожденный структурализмом, может на крыльях лингвистики перенестись из точных наук в гуманитарные. Семиотика как раз и была попыткой такой экспансии, и до поры до времени это казалось увлекательным. Я кончил отделение структурной лингвистики Московского университета, занимался порождающими грамматиками, затем типологией языков и одновременно семиотикой в том понимании, которое развивалось так называемой московско-тартуской школой — моими учителями и коллегами: Б. А. Успенским, Ю. М. Лотманом, Вяч. Вс. Ивановым. Трудно перечислить, сколь многим я им обязан: ни обязательства, ни благодарность не уменьшаются от того, что я оказался не слишком верным учеником.

Модели языка в их структуралистском понимании довольно скоро стали мне казаться ключом, который ничего не отпирает, — ни в самой языковой деятельности, ни тем более в истории культуры. Это не означает, конечно, что язык и культура никак не связаны, однако связи эти не укладываются в простые схемы, не подчиняются каким-либо простым правилам, как не подчиняется им и сама языковая деятельность, ускользающая от структуралистского описания. Деятельность сознания, включающая в себя и деятельность языковую, основана на тонких диалогических механизмах, конструирующих инаковость и обнаруживающих его через отношения тяни-толкая с этой инаковостью. Деятельность сознания есть деятельность осмысления, длящегося наделения смыслом первичных переживаний, процесс, в котором из пены морской возникает и Сусанна, и созерцающие ее старцы, предмет сознания и его временный собственник. Смысловая деятельность исторична, она не создает смыслы, а наследует их и перерабатывает, так что никаких синхронных срезов и структурных моделей у сознания не бывает и преемственная длительность из него неустранима.

Структурализм, особенно в его российском варианте, редуцировал большие философские проблемы до уровня простой схемки, заменив диалогичность сознания чем-то наподобие той примитивной картинки

коммуникативного процесса, которую любил рисовать Р. О. Якобсон. В начале семидесятых годов я встретил одного из своих семиотических коллег и на его вопрос, чем я сейчас занимаюсь, сказал, что стараюсь стать немного осведомленнее в философии; в ответ я услышал, что «философия, кажется, устарела» и напрасно я трачу силы на такие не имеющие будущего занятия. Меня этот интеллектуальный редукционизм не удовлетворял с самого начала, а попытки Якобсона придать своим незатейливым построениям вид феноменологических разысканий и соединить структурализм с Гуссерлем не вызывали у меня сочувствия. Гуссерль с его «Картезианским путем» и «Кризисом европейских наук» для такого соединения явно не подходил. Историчность смысла была в структурализме безнадежно утеряна вместе со всей проблематикой сознания и времени, бытия и времени, образования предметности и трансцендирующего его.

Я не стал заниматься философией, ограничившись лишь некоторым самообразованием, однако потерял (не в одночасье, впрочем) интерес к структурным моделям и синхронным описаниям, к структуре текста и метафорам типа «язык художественного произведения», конструировавшим несуществующие предметы. Вопрос, как я уже говорил, был не столько в методе, сколько в интересе. Мне хотелось узнать, как получилось, что мы (в различных составах этого мы) думаем, чувствуем и говорим именно так, как мы это делаем, или, другими словами, как возникли наши смыслы, как образовались наши культурные практики и навыки речи. Обращение к этой проблеме отсылает к чистой историчности, что предполагает историческое деконструирование смыслов, а отнюдь не их структуралистское конструирование. Обратившись к истории, расстаешься со структурализмом, хотя это, конечно, не единственный способ с ним расстаться.

Поворот к истории отнюдь не был моим индивидуальным жестом. Долго питаться такой нездоровой и непривлекательной пищей, как грамматика поэзии и поэзия грамматики и сходные по интеллектуальному варварству блюда, нормальные люди не могли. Некоторые, впрочем, никогда исторических интересов не теряли. Возвращаясь мыслью к тем, кто ушел от нас, но у кого я еще успел поучиться, к Ю. М. Лотману и Н. И. Толстому, я думаю об их ненасытной жадности к историческим и этнографическим деталям. Страсть к историческим деталям — это страсть к разрушению, потому что — в противность идеологическим и нарративным конструктам — деталь деструктивна. Детали — это остатки ушедших культурных практик, которые оказались не-